

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

В ЧЕМ ЖЕ НАКОНЕЦ СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ (1846)

[...] Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше, по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнавания, нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней, затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей.

Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии, не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию,¹ не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими

¹ *Маркиз Кустин* — Гоголь разумеет Кюстина — автора книги «Россия 1839 г.», вышедшей в Париже в 1843 г. на французском языке.

NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL

V ČEM JE TEDY NAKONEC PODSTATÁ RUSKÉ POEZIE A V ČEM JEJÍ JEDINEČNOST (1846)

Přeložil Jaroslav Hulák

[...] Naše vlastní poklady se nám začnou stále hojněji objevovat, čím pozorněji se budeme začítat do našich básníků. Až je více a lépe poznáme, odhalí se nám i jejich jiné vysoké hodnoty, jichž si doposud téměř nikdo nepovšiml: uvidíme, že nebyli jenom strážci našich pokladů, nýbrž zčásti dokonce – ať už fakticky záměrně nebo nezáměrně – i našimi staviteli tím, že nám ve své dokonalejší povaze ukázali některé z našich národních vlastností, které se v nich zřetelněji rozvinuly právě proto, aby se před námi zaskvěly v celé své kráse.

Ono úsilí Děržavinovo, vykreslit obraz nezločného, tvrdého muže ve velikosti až biblické, nebylo úsilím nahodilým: jeho zárodky postihl v našem lidu. Rozmáchlé rysy člověka-velikána probleskují a derou se na povrch po celé ruské zemi tak silně, že i cizinci, kteří nahlédli k nám do Ruska, jsou jimi ohromeni ještě dříve, než mohou poznat mravy a zvyky naší země. Ještě nedávno jeden z nich, který vydal své zápisky zejména proto, aby ukázal Evropě Rusko ze špatné stránky,² nemohl skrýt svůj údiv při pohledu na prosté obyvatele našich vesnických chalup. Celý ohromený se zastavoval před našimi důstojnými bělovlasými starci, sedícími na prahu svých chalup jako

² *Markýz Custine* (pozn. Gogolova)

маститыми, беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги.

Это свойство *чуткости*, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: название *ухо*, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; *удача* — всюду спеющий и везде успевающий, и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякой предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте божьего творенья.

Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш *истинно русской ум*. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей, одним словом — тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина.

patriarchové dávných biblických dob. Nejednou doznal, že v žádné jiné evropské zemi, kterou procestoval, nespatriil obraz člověka tak majestátní a téměř biblicky patriarchální. A tuto myšlenku opakoval na stránkách své knihy, naplněné nenávisť k nám, několikrát.

Tato vlastnost, *citlivost*, která se v tak vysoké míře projevila u Puškina, je naše vlastnost národní. Jenom si připomeňme přízviska, kterými sám náš lid tuto svou vlastnost charakterizuje, například: přízvisko *ucho*, které se dává člověku, v němž hraje a zpívá každá žilka, který chvíli nepostojí s prázdnýma rukama; *šťístko* je zase ten, kdo se do všeho pouští a komu se všechno daří; a máme u nás celé množství dalších přízvisek, vystihujících nejrůznější odstíny a odrůdy této vlastnosti. Je to veliká vlastnost: ruský muž, jak ho vykreslil Děržavin, vyjde neúplně a drsně, nebude-li mít schopnost živě reagovat na každou věc v přírodě a podívat se na každém kroku kráse božího stvoření.

Tento rozum, který umí najít pravý střed každé věci a který se projevila u Krylova, je náš *ryze ruský rozum*. Jenom u Krylova se projevila onen správný jemnocit ruského rozumu, který umí vystihnout skutečnou podstatu každé věci, umí ji vyjádřit tak, že tím nikoho neurazí a nepopudí tak ani proti sobě, ani proti své myšlence, a dokonce ani ty, kdož s ním nesouhlasí, zkrátka ten pravý jemnocit, který jsme při své velkosvětské výchově ztratili a který se doposud uchoval u našeho rolníka.

[...] Эта *молодая удаля* и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаля нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, — которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры и личные выгоды каждого — всё позабыто, и вся Россия — один человек.

Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся; поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его.

Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический, бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего тока, стих Пушкина; этот сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий как луч в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкой, воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук золотой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас

[...] Та *mladistvá odvaha* a odhodlanost k vykročení na cestu добра, která tak bouří ve verších Jazykovových, to je odvaha našeho ruského lidu, ta krásná vlastnost, kterou má jedině on a jež umí naráz naplnit mládím naše starce i chlapce, jen je-li příležitost, aby se všichni pustili do díla, které by nebyl s to provést žádný jiný národ, odvaha, která rázem slévá celou různorodou masu, navzájem nevraživou, v jediný společný cit, která dává zapomenout na spory, na osobní prospěch jednotlivce, na všechno a proměňuje Rusko v jediného člověka.

Tyto všechny vlastnosti, projevující se u našich básníků, jsou naše vlastnosti národní, u nich jen výrazněji vyvinuté; básníci přece nepřicházejí z druhé strany moře, ale vycházejí ze svého národa. Jsou to plameny, jež z něho vyšlehl, zvěstovatelé jeho síly.

Naši básníci si mimoto získali zásluhu už tím, že kolem sebe rozšířili libozvuk dotud nebývalý. Nevím, v které cizí literatuře se mohou básníci vykázat tak nekonečnou rozmanitostí zvukových odstínů, k čemuž rozumí se, zčásti napomohl už náš poetický jazyk. Každý má svůj verš a svůj osobitý tón. Ten Děržavinův kovový jako z bronzu ulitý, který nám dodnes zní v sluchu; ten Puškinův verš, vláčný jako pryskyřice nebo jako pramen stoletého tokajského; ten třpytný slavnostní verš Jazykovův, prozařující duši jako paprsek světla; ten Baťuškovův verš, obestřený vůní jihu, sladký jako med z horské soutěsky; ten lehký, vzdušný verš Žukovského, prchavý jako tlumený zvuk harfy Aeolovy; ten těžký, jakoby po zemi se vlekoucí verš Vjazemského, občas proniknutý

едкой, щемящей русской грустью, — все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. [...] Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов [...].

Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, осязаемой осязанью непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей, — дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, — не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего <языка> и возвратились бы мы к нему, уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. [...].

jedovatým, svírajícím ruským smutkem – jeden jako druhý jako různohlasé zvony nebo nesčíslné klávesy jediných velkolepých varhan roznesly po ruské zemi libozvuk. [...] Naše poezie zkoušela všechny akordy, vzdělávala se na literaturách všech národů, naslouchala lyrám všech básníků [...].

Konečně je dosud tajemstvím náš neobyčejný jazyk. Jsou v něm všechny tóny i odstíny, celá škála zvuků od nejtvrděších až po nejněžnější a nejlíbeznější; je bez hranic a může se – živý jako sám život – bez ustání obohacovat, přibíraje na jedné straně vznešená slova z jazyka církevně biblického a vybíraje si na druhé straně výstižné výrazy ze svých nespočetných nářečí, roztroušených po našich provinciích a máje tak možnost dosahovat v jedné a téže řeči výše nedostupné žádnému jinému jazyku i snižovat se k prostotě dostupné chápání i nejméně chápavého člověka – jazyk, který je už sám o sobě básníkem a který nebyl nadarmo načas zapomenut naší vysokou společností: potřebovali jsme se vytlachat v cizích jazycích ze vší té veteše, která se na nás přilípla zároveň s cizí vzdělaností, aby se všechna ta nejasná slova, nepřesné názvy věcí – plody to neujasněných a zmatených myšlenek, jež zatemňují jazyky – neopovážily zastínit dětskou jasnost našeho jazyka a abychom se k němu vrátili už ochotni myslet a žít podle svého rozumu, a ne podle cizího. [...].